

Дмитрий Володихин

ЭЛИНОРОССИЯ

РОМАН-ХРОНИКА



Москва
«Снежный Ком»
2019

УДК 82-32
ББК 84(Рос-Рус)6
В68



Серия «Бастион» основана в 2019 году
Ведущий редактор *Дмитрий Володихин*



Володихин, Дмитрий
В68 Эллинороссия : роман-хроника / Дмитрий Володихин. —
М. : «Снежный Ком М», 2019. — 192 с. — (Бастион).

ISBN 978-5-6042584-4-6

Византия вовсе не разгромлена турками и крестоносцами.
Владимирская Русь вовсе не пала под натиском монголо-татар.
Они объединились и выстояли! Из этого объединения вырос
мир греко-русской державы, которую историки хорошо знают
под именем Эллинороссии.

УДК 82-32
ББК 84(Рос-Рус)6

ISBN 978-5-6042584-4-6

© Володихин Д., 2019
© «Снежный Ком М»
(ИП Штепин Д.В.), 2019
© Оформление. Голуб Ю., 2019

Время первое

РОМЕЙСКОЕ МОРЕ

1.

«Как они называют этот благословенный остров, истинный рай земной? Воскресенским! А как назвал его настоящий первооткрыватель, имя коего, как видно, скоро сотрется из памяти людской? Эспаньола! В честь земли, принадлежащей благочестивой королеве Изабелле и ее нечестивцу-супругу. А как называют этот остров добрые христиане, чуждающиеся восточного ерестичества и злых схизматиков? Доминиканой. Да, тоже в честь Воскресения Христова, но на древнем, славном языке подлинного просвещения, а не на варварской речи писцов... этого... смешно!.. царя?.. императора?.. Вот уж нет! Василевса ромеев?.. Августа московитов?..

Черт ногу сломит в пышной восточной титулатуре!

Московская империя всё давит, всё гребет под себя, всё присваивает имени и власти царей, а мудрость и просвещение ровняет с землей. Что она такое воистину? Наказание Божье.

Но и Его же испытание, посланное истинным христианам, дабы закалить их, дабы отделить агнцев от козлиц.

И когда-нибудь перст Господень проведет последнюю черту на древнем, пожелтевшем пергамене с хроникой судеб Империи. Тогда люди правой веры и доброго закона своими руками уничтожат это зловонное драконье гнездо.

Может быть, при нашей жизни.

Может быть, совсем скоро придет время ниспровержения.

Может быть, оно уже пришло.

Мы не отвергнуты Богом! Наша ненависть свята. Сказано: «Дайте место гневу Божию...» Но, сдается мне, мы и есть искры гнева Божьего. Сдается мне, именно из нас разгорится очистительное пламя!»

2.

«Всё иное!

Семо — тако, овамо — другаяко, нимало не похоже.

Тамо — дебрь хвойная, темная, камень-гранит мхами проржавелый, валуны, точно бы шляпки грибов-боровиков, из моря поднимающиеся, иван-да-марья цветет-колышется на вырубках, ведьмеди на речных перекатах порывают, лоси в чащобах пошумливают, на тепло — скудость, на свет — нищета.

Здесь же, в местах новых, царскими служилыми мореходами на краю земли для державы добытых, нету никакой хищной звери; собак и тех нет, oprичь малого числа, коих завезли со старых земель; всё цветет, и цветами твердь обильна, всюду теплынь да зной, у лазури морской песчаные каймы прибрежные — белые-белые, белей свечного огня. Света много, света — казна неисчерпаемая!

Токмо солнце тут и там ослепляющее, яко сребро чистое, разве лишь в русских краях скупое, а в земле Святого Воскресения — щедрое.

Ежели войти в воды окиянстии, ко чреслам твоим и к тулову подступит волна, ласковая, яко котик домашний, теплая, яко уголь очажная, до конца не простывшая, но и ярость огненную уже покинувшая, жирная, яко молоко парное, едва-едва кравицу-кормилицу покинувшее.

Нежны в сих местах волны Ромейского моря, от Геркулесовых столпов до нашего благословенного острова простершиеся!

Родное-то море водами своими инако человека принимает. О, море Студеное, море дышащее! Хладны и сердиты волны твои от острога Кольского до славной обители Соловецкой! Ты — измена лютая! Кто в хляби твои не хаживал, тот Бога не маливал... Инде рыбалям, а инде кто на промысел пошел на весновальной за зверью морской, а инде кто зуб морской добывает, Богом попущено будет в волны окунуться, из тех, может, двое с полудюжины жизнь уберегут, иных же заберет стылая бездна.

А тут — радость и послабление великое и рыбарю, и кормщику, и страстиоту морскому. Плавай, ныряй, да хоть день-деньской по самые очи в воде сиди, а не успеет море ничтоже противу тебя, но едино от него услаждение. И птицы великие над тобой парят, обликом яко ящеры древние, но не истинные драконы, а твари Божьи нравом тихие.

Иные же птицы повсюду сладостно поют, якобы Творцу хвалебное пение вознося, — и у самого моря, и в лесах, и на горах, и средь садов. Поют по всякий день, и како сердцу не возвеселиться от их гомона, щобота, свиста, теньканья и разного инакого благоуханного звукоизвлечения?!

Вот стоишь ты в водах, на двадесять шагов от берега отойдя, море бьет тебя в грудь, кружева кругом тебя вскипают, но крепость твою волна преодолеть не может. Гневается море, под ноги тебе белые палочки и кругляши бросает, древними буквицами испещренные. И каких народов писцы сии буквицы подписали, ведает один Бог. Может, нефелимы, может, рефаимы, может, каиниты... А иные говорят — атлантосы, за великую гордыню на окиянстем дне погребенные.

Сколько морей видел ты на веку своем нескончаемом? Свое Студеное море, затем Понт Эвксинский, инде Херсон-град стоит великий, святынями украшенный, в битвах с ордою едва сбереженный, еще Пропонтиду, за нею Твердиземное море да здешнее великое Ромейское море... А к чему сердце прикипело? Ко замшелым валунам соловецким, издавна душе твоей любезным. Увидеть бы их перед скончанием земного срока хоть одним глазочком...

Но предивна земля Воскресенская! Предивен мир Божий! Предивно творение Царя Небесного!

Славен Господь! Благодарение Ему сердечное за всё на свете».

3.

Море Ромейское у земли Святого Воскресения играет россыпями драгоценных эмалей: вот, у самого борта, эмаль берилловая, рядом уже аквамариновая, растворяющаяся в чистой лазури. Поодаль — темная эмаль сапфировая. А к берегу прикипает эмаль аметистовая, облагороженная царственным пурпуром.

И служилые царские навтис, всяких красот повидавшие в своих странствиях, заморожено смотрят в воды Ойкумены Эсхаты, неложного края мира. Очарование ее вливается в задубевшие, просоленные сердца хмельным потоком.

Тяжелый имперский дромон приближается к Воскресенской гавани. Бомбарды с берега приветствуют его залпами. Трепещет по ветру багряный стяг с золотым двуглавым орлом и коронованным львом, вставшим на задние лапы. Небо глядит на державных зверей очами любознательной девственницы.

На носу дромона, у резной фигуры святого Пантелеймона, стоит высокий смуглый грек — государев думный дворянин Феодор Апокавк.

4.

«Будь внимателен. Смотри во все глаза, слушай во все уши. Вбирай новый мир умом и сердцем, преврати его в слова, и время путешествия не будет растрчено напрасно. Вернешься и подарить миру перипл философа...

Вон там... в том месте, где большая река соединяется с морским заливом, стоит крепость с зубчатыми стенами. Смотровая башня высокая. Бойниц для лучников и пищальников в достатке, для бомбард же их маловато: вероятно, на сильного врага здесь не рассчитывают...

Запомнить.

А вот в волнах морских, отойдя шагов на двадцать от берега, стоит седовласый старик. Смотри-ка, машет рукой... приветливо. Кожа смуглая, но не коричневая, а серая, оловянная. Лицо грубое, ветрами исклеванное — словно у моряка или рыбака. Борода длинная, праотеческая, конец в воде скрыт. И... настоящий медведь: высокий, плечистый, мышцы не одряблевшие, а живые, под кожей перекатываются, словно песок в пустыне под сильным ветром. Лоб высокий, рвами поперечных морщин тяжко распаханный...

Кто такой богатырь сей древний? Запомнить, впоследствии расспросить.

Дромон не входит в устье реки, хотя мог бы: спокойно, точно — на веслах, коих варварские корабли готов и франков не имеют... Впрочем, это его единственное преимущество. Конечно, в эгейском Архипелаге, с его тьмочисленными островами и изрезанной береговой линией, в Пропонтиде, на Босфоре, да и вообще меж берегов Средиземного моря дромон хорош: мелко сидит в воде, быстро поворачивается, набор тела корабля — легкий... Но для великого моря, что простерлось за Геркулесовыми столбами, это не корабль. Сильные волны могут разбить его в гибельном месте,

где бѣрега не видно ни с одной стороны, и отважные навтис погибнут. Конечно, эта, последняя версия дромона — более продуманное технѣ. Парусов больше, набор мощнее, сам корабль — больше старинных. Однако бомбард на него много не взгромоздишь. И ход под парусами, как ни крути, — тихий. Следуя ученью логики, надо признать, что для океанских просторов всякое улучшение дромона станет углублением тупика. Дромон для дальних морских походов, как говорят русские, бесприбылен. «Прибыльнее» корабли западных варваров: каравеллы, каракки, галеоны. Но здесь, в самой заокеанской феме Святого Воскресения, стратигу уместно было бы обзавестись собственным корабельным строением, да и строить не только посудины по варварскому обычаю, но и дромоны, триремы, может быть, пентеры. Здешняя часть моря, судя по чертежам, присланным в Приказ морских дел, изобилует островами, островками, островочками и мелями. Ergo, гребные суда, по самой природе своей не плавающие весьма далеко, но используемые в условиях, близких к тем, что обнаруживаются в Архипелаге, могут принести здесь пользу.

Запомнить.

Сообщить в Приказ. Дать совет стратигу, и да поможет ему Господь!

Когда тебя со всех сторон обвиняют в том, что ум твой легок, ты учишься доказывать делами, а не словами, что в действительности он не легкий, а быстрый. Глубины же в нем хватает...

Ты считаешь святого Григория Паламу и учение об исихии, но натура твоя, скорая на всякое движение, к медленному аскетическому деланию не приспособлена. И, шествуя путем логики, ты понимаешь, что сияющих божественных энергий тебе не увидеть... Но ты способен приносить пользу в делах философических, технических и политических.

Поэтому не давай уму лениться! Работай им, как добрый хлебопёк и лукавый трапезит работают руками. Вбирай, запоминай, обдумывай.

Вот горсть домов близ крепости. Какие дома? Добротные, большие, деревянные, либо сложенные из желтого ракушечника, со временем сереющего. Иные же — из плинфы, лучшего строительного материала, какой ты знаешь по всем большим полисам Империи: по великому столичному граду Москве, по Киеву, по Полоцку, по Солуни, по Константинополю, по Никее, Антиохии, Иерусалиму и Риму. Окна широко растесаны, это окна мирного города, который не боится врага. Почему? Были же доклады: на острове живет некий тайный народ таино — дикий, сердитый. Так отчего же крепость слаба, а горожане нападения не боятся?

Расспросить. Уяснить.

Тем более что истинная причина твоего здесь появления должна иметь прикровенный вид. Для всех, ну, почти для всех, ты здесь с проверкой по ведомству логофета дрома, по делам о церковном строительстве... И только для русского митрополита-навтис ты — носитель дела мистического и страшного. Из конца в конец Империи считанные единицы вообще способны понять его суть... Любопытно, поймет ли митрополит-навтис? Впрочем, какие из русских навтис...

5.

Как только дромон застыл у пристани, Апокавк шагнул на сходни. В сей же миг, вниз неторопливо пополз малый стяг с образом святых Бориса и Глеба, соседствовавший с орлино-львиным знаменем царского флота и означавший пребывание на борту государева служильца думного чина с полномочиями патрикия Империи.

Над рекою царило невысокое всхолмие. Оттуда к причалу устремились два всадника на дорогих конях и в одеждах, расшитых золотом. За ними едва поспевала вооруженная свита. Начав с тихого шага, они постепенно ускорялись, перешли на рысь, а потом поскакали во весь мах.

Апокавк с удивлением увидел, что всадники соревнуются и ни один не желает уступить другому первенство. Каждый искал добраться до царского посланца первым.

Один из них, рослый, широкий в плечах, с густой окладистой бородой, при длинном прямом мече, с золотой номисмой, пожалованной когда-то за отвагу в бою и пришитой к шапке, обличем напоминал русского боярина... ну или чуть-чуть пониже чином, нежели целый боярин. Второй — сухой, жилистый, высоколобый, голобородый коротышка с трапезундской вышивкой, змеившейся по одежде, и легкой саблей, эфес которой отделан был бирюзой. Этот явно происходил из восточных фем.

Русский сердито оглядывался на своего спутника, немо призывая того сдержать коня. Но тот остановил огромного вороного жеребца, дав русскому всаднику опередить себя всего лишь на шаг или меньше шага. Оба спешили одновременно.

Бородатый подошел к Апокавку и молча смерил взглядом. Бог весть, кому, по чести, первым следовало начать приветствие. Апокавка послали сюда по воле самого государя и Боярской думы; но перед ним стоял, по всей видимости, стратиг острова. Точнее, стратиг всего Нового Света. С ним не следовало бы ссориться, ведь тайные дела под шум ссоры вершить неудобно...

Грек отдал легкий поклон.

Русский вежливо ответил тем же, сняв шапку. Апокавк узрел макушку, выбритую, по обычаю московской знати, до синевы.

Спутник бородача поклонился с горячностью и улыбнулся гостю.

— Я, патрикий Империи, думный дворянин Феодор Апокавк, послан сюда с указом проверить расход царских денег на строительство храмов Божьих. Вот грамота государева...

Его собеседник принял свиток из рук Апокавк и молча передал человеку из свиты в одежде нотариуса... или... как их зовут русские? Неподъемное слово под... подячегос... подьячий.

— Я стратиг Воскресенской фемы князь Глеб Авванезьич Белозерский. — Должно быть, отчество князь поименовал как-то иначе, но Апокавк полжизни потратил на то, чтобы различать русские отчества, однако понимал их со второго на третье, не чаще. — Рад принять тебя, патрикий.

И князь не то чтобы поклонился имени василевса, нет, он лишь слегка наклонил голову.

Затем стратиг вновь разомкнул уста ради торжественного вопрошания:

— Здрав ли великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич?

— Божьей милостью здрав, — отвечивал грек.

— Здрава ли драгоценная супруга его Софья Фоминична?

— Бог милует ее, хвори никакой нет.

— Здрaвы ли чада и племенники великого государя?

— В Божьей руце здравы и во всем благополучны, — привычно проговорил грек необходимые слова.

— Ну, славен Господь! — завершил Глеб Белозерский. — А это, — указал он на низкорослого, — мой главный помощник, воинский голова над конными людьми, то бишь турмарх. И зовут его Варда Ховра.

— Вардан Гаврас, мой господин... — с задором поправил его спутник.

«Арменин», — отметил про себя Апокавк.

— И второй мой помощник, — продолжил стратиг, не обратив на Ховру внимания, — Кристофор Колун, друнгарий.

Из свиты шагнул вперед человек с исключительной белизной лица и жесткой складкой губ. Волосы — рыжина с проседью, нос тонкий, орлиный. Снял шляпу с пером, отдал низкий поклон.

«Венет? Флорентиец? Анконец? Что-нибудь такое».

Друнгарий, уловив гадательный взгляд Апокавка, с усмешкою пояснил:

— Сын благородной Генуи.

«Угадлив...»

Через свиту стратига протолкнулся длиннобородый старик — тот самый, медведеподобный, с лицом, огрубевшим от морских ветров. Голый по пояс, мускулистый, доброглазый.

— Что стоишь, чадо? Иди-ка под благословение.

Апокавок с ужасом отшатнулся от него. Это еще кто? Вернее, что за чудище из вод морских?! Руки — крючья корабельные!

— А это владыка Герман, митрополит Воскресенский и всяя Ромейского моря, — пояснил князь. — Тебе к нему.

Тогда грек с робостью принял благословение, а потом и медвежье объятие.

«Весь живот намочил мне своей бородищей...»

6.

Последним, когда князя со свитой, митрополита и патрикия уже и след простыл, сошел с корабля человек неприметный. Не слишком высокий, но и не слишком низкий, не слишком смуглый, но и не белолицый, с волосами не слишком длинными, но и не бритый наголо. Не толстяк, но и не человек-веревка. В опрятном одеянии темных тонов, притом не особенно богатым,

но и не в рубище, не в дранине. На плече он нес сумку странствующего богомольца.

Завтра, в полуденный час, он как бы случайно встретится с Апокавом на площади перед собором Воскресения Христова.

Быть может, в его услугах не будет надобности. Но думный дворянин все же велел ему сопровождать себя. На всякий случай. В дальних путешествиях может произойти что угодно, и надо быть готовым.

Когда-то давно умным человеком сказано: «Если ты находишься во враждебной стране, пусть у тебя будет много верных и расторопных разведчиков, которых мы, ромеи, называем хонсариями, так как через них ты должен узнавать о силе врага и о его хитростях. Без разведчиков невозможно нести службу». А уж, какую страну считать враждебной и опасной, определяет начальство.

Что ж, ему дальние путешествия не в тягость. Даже если не придется работать, жалование начисляется исправно...

7.

— Чадо, чадо! Зачем понадобилось тебе Христа срамить пред народцем малых сих? Не был бы ты, аколуп дружины каталонской, в папешской вере, посадил бы тебя на такую епитимью, чтобы только искры из глаз сыпались! Однако ж и так не минует тебя чаша наказания и покаяния. Вот тебе грамотка от меня. Отнеси ее вашему папешскому пресвитеру Пасхалию и ведай, что простираю смиренное мое к нему моление, дабы прописал тебе почтенный Пасхалий ижицу, ять, юсы и еры, да и великогордую выю твою смирил... Так, чтоб из недр твоих вой и стенание доносились! А я потом проверю.

— За что, владикко? — мрачно поинтересовался аколуп, не отрывая взгляда от пола.

— За что? За что?! — не на шутку рассерчал Герман. — Кто людишек местных пограбил со своими жеронскими вояками? Кто скотинку поотбирал? Кто рыба вяленого поссыпал в мешки да унес? Не ты? Дак двое уже князьцов народа таинского со жалобами приходили и плачем многим. «Оборони, владыко! Мы твоего большого белого Бога вместо отеческих приняли, а вы нас — однояко грабить?!» Вопрошаю: «Кто?» Они же: «Рамон! Рамон! Вот каков злодей! У-у-у, каков злодей!»

Апокавк хотел бы уйти отсюда. Ссора главы всего местного православного духовенства и аколупа дружины каталонской набирала ход, грозя вот-вот сорваться на бешеный скак запряженных в колесницу ипподромных лошадей. И... Апокавк хотел бы остаться. Надо смотреть, надо видеть, надо понимать: кто тут сила, кто кому враг, кто для пользы царской прибыльнее, а от кого одна «поруха делу», как русские говорят. Герман, принимавший грека в своих невеликих деревянных хоромах — на Москве средние купчины в таких живут, — дал ему знак остаться.

И он остался, напустив на себя вид равнодушия к происходящему.

— Они — дикари, барбари. Они — живая добыча для благородного воителя, — отворотясь, заговорил аколуп. Звучал его голос надтреснуто, словно колокол, упавший с колокольни в пожарное время и с тех пор исполнившийся внутренним изъязвом. Нет было в его звуке яроемдой блистательной уверенности.

«Экий бочонок... Плечи разъехались, будто у древнего титана, а ростом не вышел. Рыжий, кряжистый, коротконогий бочонок», — лениво размышлял грек, твердо зная притом: сойдись они с этим бочонком в сражении, и быть ему от бочонка битым, хотя бы он, Апокавк, вышел с мечом, а противник его с голыми руками. Одним ударом кулака...

— Что мелешь, чадо бестолковое? — властно укорил Рамона владыка. — Кто мы тут? Добытчики? Охотники на чужой товар и чужую снедь? Нет же! Мы — христолюбивое воинство в крещаемой стране. Мы веру несем! Мы обращаем твоих, чекмарь, «барбари» не в рабов, а в полноправных ромеев, нашему царю служащих...

Герман отер пот со лба усталым движением. Собеседник его молчал, каменным держал простоватое свое лицо, двумя язвинами глубоких ранений отмеченное. Видно было: не в грехе упорствует, но сразу сдаваться не хочет. Мол, только бабы каются со слезами и рыданиями, всем напоказ...

«Каталонцы — нет народа упрямее... Но какие страстиоты!»

— Всё князьям несправедно отобранное отдашь. И людям своим скажи, чтобы вернули. Пока — так. А в другой раз...

Владыка тяжело покачал головой.

«Так ли было при великих царях греческих, в ту пору, когда Константинополь именовали на Руси Царьградом, и был он, действительно, монархом среди прочих городов Ойкумены? Отчасти так. Отчасти. Рабству христианская вера — враг. Как может быть единоведец — рабом? Как может быть ромей рабом у ромей? Не сразу, с тяжким промедлением, но рабовладение все же отступило. Но не у германцев, не у венетов и не у каталонцев... У них работорговые рынки не пустовали. Почему? Конечно, пока были вне Империи...»

— Феодор... Чадо... Али заснул?

Апокавк встрепенулся: и впрямь, ток дум занес его в дальние края. Когда ушел аколужф? Давно ль?

— Я с тобой, владыко.

— То на добро. Сей же час кликну келейника своего, с молитвою потрапезуем. Чай, оголодал? Не обессудь, ядь принесут постную. Живу не по-бойарски. Иначе тут

нельзя... Кто в дебри, к народам, в поганстве коснеющим, несет веру Христову, тот должен быть чист и от горделивости, и от корысти.

8.

«Всему виной этот проstack, русский lapot', пышно прозванный стратигом. Князь каких-то там belozer... belozers... в общем, terra incognita.

Не он эту землю отыскал в океанских водах, не он привел ее под высокую руку христиан. Отчего же правит — он?! Только лишь оттого, что Москва поставила его сюда на voevodstvo. И как правит?! Как! Глупее не придумаешь. Милуется с местными князьями, жалкий yasak взымает. Их бы вычистить как следует от всего ценного, а потом заставить до седьмого пота работать. Скажем, на рудник — пусть добывают золото и электрон! Пусть отнимают у земли местную разновидность бирюзы — не хуже азиатской! Да хотя бы на полях. Сколько здесь можно снять хлеба и иных, полезных для добрых христиан плодов природы?! Или же пускай ходят за скотом. Если завести из Старого Света хорошие породы, на этом можно поистине озолотиться! Только прежде надо заставить местную мыслящую скотину, безобразно скуластую, двигаться побыстрее, давать ей отдыху поменьше и кормить ее без роскошества.

Ужели хорошо, что они сами ведут свое хозяйство? Ужели выгодно позволять им ходить и работать с ужающей медленностью — словно они живут под водой?! А если их на все нужды не хватит, что ж, разумно было бы завести крепких рабов-мавров...

Но разве когда-нибудь так будет?! Царь и его стратиг всё играют, пытаются уравнивать дикарей-язычников с нормальными людьми. Дескать, когда-нибудь все они станут ромеями, так издревле пошло.

Чушь!

Бред!

Еретическое безумие!

Но как повернуть тут всё на правильный путь, когда prince Glebus мешает смертно, а у него сила, а при нем еще этот полусумасшедший старик, главный ересиарх Germann, всему злу начальник? И даже если воодушевить на добрый заговор тех, кому дорога истинная вера, многие ли пойдут? Успокоились, приняли чужую власть как родную, покорились. Сам король Арагонский Фернандо принял их нечестивую ортодоксию. А ведь был гонителем еретиков, главой святого братства эрманды и заботливым попечителем инквизиции!

Следует добавить жара в остывающие угли. Следует всколыхнуть умы.

Чем?

Чем?!»

9.

...Стол наполнился яствами.

Помолившись, Герман благословил еду и питье, глянул на стоящие перед ним блюда с пренебрежением и велел садиться трапезовать.

— Отчего морщишься, владыко?

— Не моя еда! Сколь я здесь? Восемь лет — с тех пор, как первенькую церковочку основали, Успенскую... а всё привыкнуть не могу. Словно бы я во сне заплутал. Мне бы груздочков. Мне бы рыжиков соленых, крепеньких да молоденьких, мне бы яблочек моченых да капустки квашёной. Или бы огурчика ростовского малого да хрусткого — хошь свеженького, а хошь из бочки. Грешен! Люблю огурчики ростовские! Грешен паки и паки. Разве можно мертвецу по естве скучать? А я вот слабинку душевную даю.

— Мертвецу?

— А кому ж? Монашествовую и, стало быть, для света белого да мира людского — мертвец.

Апокавк подивился такому благочестию. Не игра ли? Но нет, не похоже, нет...

Перед ними стояли овощи многообразные, бобы тушеные, пироги, рыба вельможных размеров да соленые морские гады, коих Апокавк любил любовью крепкой и глубокой. Ради гостя Герман поставил и вино, по его словам, доставленное с Кипра. Но сам старец ни к вину, ни к рыбе ни разу не прикоснулся. Пока государев думный дворянин насыщал утробу, Герман отщипнул тут, отщипнул там, да и остался доволен.

Задав приличествующие архиерейскому сану разгонные вопросы, грек приступил к делу:

— Прошу не винить меня, я обязан был скрыть, что истинная причина моего посещения далека от той, которая...

— Знамо, — перебил его русский, — с простым делом такого, как ты, не пришлют.

«Всё так, как и говорили о нем: владыка прям, но не прост».

— И-и... кир митрополит... прости. Прежде того, как о главном деле разговор у нас пойдет, не мог бы ты оказать милость несчастному глупому чужестранцу из Москвы?

— Изволь, чадо! Гость мой, что мне сделать для тебя?

— Бога ради, скажи мне, как правильно звучит отчество стратига Воскресенской фемы, князя Глеба?

— Чего ж проще! Вот тебе. — И Герман громко произнес: — Авванизьеч.

Нет, он точно сказал что-то иное! Апокавк знал русские отчества: Александрович, может быть? Или Иоаннович? Что-то такое... Алексеевич? Точно нет. Авраамович? Аввакумович? Ну почему русские произносят их столь невнятно?!

— Благодарю тебя, владыко. Я услышал... и... понял.
Герман ему улыбнулся.

«Доволен, как видно, что угодил гостю...»

— Итак, речь идет об одной вещи, кир митрополит, которую ты увез с собой из божественного Константинополя, когда отправлялся сюда, за море. Впрочем, тогда ты еще не знал, где окажешься.

Герман удивленно повел плечами.

— Что за вещь? Со мной было всё самое простое: платья немного, обычного и теплого, обутка, одеяние архиерейское да сосуды богослужебные. Сверх того крест наперсной да панагия, да антимины, да книги церковные, дабы, ежели храм какой-нито поставим, как и вышло впоследствии, не оставался бы он без молитвы и без пения.

Грек заговорил осторожно:

— Да, книги... Но не все они были церковные... одна из них, подарок, оказалась здесь с тобою, поскольку душа твоя потребовала улаждения.

— Что такое? — недоумевал Герман.

«Пропала? — насторожился Апокавк. — Вот еще беды не хватало».

— Твой добрый друг, владыко, иеродьякон Елевферий...

— О, Алфёр? Помню его! Вот кто был истинно книжен! Из его рук виноградом словесным я вдоволь насытился! Вот кто душа совиная, борзого смысла полна!

И Апокавк услышал от Германа то, о чем в деталях знал и без его словес, за исключением разве что неких незначительных деталей.

О том, например, как Герман, простой инок Соловецкой морской обители (даром, что один из ее основателей), вызван был в Новгород Великий, а оттуда в Москву, много учился и прошел поставление в иеромонахи ради некоего тайного дела, о котором ему даже в священническом сане ни полслова не сообщили. О том, как

из Москвы отправился Герман через Херсон в Константинополь и принял там новую волну учения на свою седую грудь: сиживал с отроками на одних скамьях в Магнавре и, уже уведомленный о грядущем путешествии, был, к собственному бесконечному удивлению, поднят из иеромонашеского сана до архиерейского. Если бы великий государь Иоанн Базилидес более доверял грекам, ничего подобного с Германом не произошло бы. Но когда император узнал о великом плавании, которое на дальнем рубеже Царства, в Испании, тамошние его подручники Фернандо с Изабеллою готовили за великое океан-море, то сейчас же осведомился: кто из коренных ромеев идет с испанцами для надзора? А кто у нас коренные ромеи? Греки да русские, армяне да болгары, в какой-то мере сирийцы, в какой-то мере сербы, но эти, последние, уже дальше, дальше... Уведав, что испанская венценосная чета поставила водителем корабельным какого-то Колона из хитрющих генуэзцев, а экзарх западных фем дал ему в провожатые арменина из боярского рода Гаврасов да грека Аргиропула, отличного морехода, царь немедленно потребовал заменить многоопытного эллина на двух русских: князя Глеба и другого навтис, обязательно, обязательно русского! А где его найти, природного русского навтис? Присоветовал ему владыка Новгородский старого монаха — святой жизни, по его словам, человека, полвека своего по нуждам обители плававшего по морям на малых лодках и великих лодиях.

Так Герман и отправился в эти места. Русский навтис, хе-хе...

А впрочем, Апокавк слушал почтительно, не прерывая владыку. Тот мог сказать нечто действительно важное — случайно проговорившись. И слушая его, грек боролся с теплым чувством, только мешавшим его работе: а ведь они учились в разное время, но в одном месте, месте поистине непревзойденном как оплот знаний.

О великая Магнаврская школа, о, плещущий вином философии Пандидактерион! Разве не ты, старший среди схол Константинополя, более всего украшаешь великий Второй Рим? Среди одряхлевших древних соборов, близ все еще блистательной Святой Софии, неподалеку от толпы дворцов, несколько запущенных ныне, ибо лишь один из них, Влахернский, занимает ныне стратиг невеликой фемы Цареградской, прочие же оставлены для памяти о благочестивых царях греческой старины... О великий сын эллинской мудрости, славься вечно!

Между тем Герман, кажется, и впрямь начал говорить о вещах интересных.

— По нраву ему пришлось рвение мое к наукам. А я и рад! До старости ветхой читать-писать едва выучился, да и помирать собрался, уже и причастился, и соборовался, и в дальний путь обрядился, лежу, своего часа жду во обители святого Антония Римлянина, что близ Великого Новагорода. А тут муж, ликом светлый, якобы ангел Господень, с посланием архиепископским меня из домовины выдернул, от хвори отлучил и новый путь дал... И сладостно мне стало прикасаться ко словесам отцев Церкви, богословов, светильников иночества древнего. Досель не книжен умом был, а отсель переменился. Ну и, грешным делом, ко писаниям о летах былых, о царях и святителях, о войнах и крещении языцев душою прикипел. Возлюбил летописи да хроники, хотя вовсе они не то чтение, что монаху подобает. Алфёру-то моя страсть неопита в книжности на сердце легла. Указывал он мне хорошие книжицы, строжил, что писаний много на свете, а не все божественныя суть, но давал редкие свитки из Магнаврской вивлиофики, где был книгохранителем. Вот, дал одну хронику пречудную, словно бы сказочную... Хронику небывших дел...

«Так-так. Значит, проведал!» — наострил уши Апокавк.

— А я ее никак не мог до конца одолеть. Уже и срок мне приспел в Хишпанею отплывать, а я всё мусолю. Он и говорит мне, не яко наставник, а яко добрый товарищ мой: «Не возьму в толк, какие чудеса ты там обрел, давно всем хроника Никиты Хониата известна, а ты ею странно поражен. Но тебе, Германе, хронику сию могу отдать в твое путное шествие, ибо великий Магнавр имеет ее во множестве списков, и есть среди них поистиннее того, что тебе даден. Читай в своё удовольствие, архиерей свежевыращенный»...

«Следовательно, тот, магнаврский библиотекарь, не знал, не понял, в конце концов, не обратил внимания. Значит, не было злого умысла. Такое могло случиться. Сунул руку не в тот сундук, не углядели за ним... Надо бы проверить. Для порядка. Но истинного преступления чрез законы пока не видно».

— ...я и читал, угобжался. Дивного там много, не бывшего никогда...

— А с какого места, высокочтимый кир Герман, начинается в ней... дивное? — осторожно осведомился патрикий.

— Чего ж проще? Сам посмотри. Чай, за тем сюда, за три моря, и явился.

С этими словами Герман вышел из трапезной, побыл в соседнем покое время, надобное для того, чтобы дважды, не торопясь, прочитать «Отче наш», и, вернувшись, положил на стол книгу, обложенную досками в коже с оттиснутым знаком — буквицей «Д»... Первой в имени Доброслава, писца одного из старинных полоцких князей.

«Она... Господи, она!» — затрепетал Апокавк, выкладывая на стол вторую книгу.

— Разгни, грек, воззри и отсель чты, — указал перстом Герман.

— А ты отсюда, владыко, — ответил патрикий, вынув закладку-кисточку.

«Так... Так...Так... Поход Мануила I Великого на турок, коих автор хроники по старинному обычаю именует персами...1176 год от Рождества Христова, он же 6684 от Сотворения мира... Мириокефалон. Битва царя православного с султаном Кличестланом... Вот оно! Вот оно! Никакой ошибки!»

И он мысленно отметил обширный кусок, с которого начинались «небывшие дела»:

«Султан поспешил занять теснины, которые называются Иврицкими дефилями и чрез которые должны были проходить ромеи по выходе из Мириокефала, и скрытно поставил здесь свои фаланги с тем, чтобы они напали на ромеев, как скоро те будут проходить. Это место есть продолговатая долина, идущая между высоких гор, которая на северной стороне мало-помалу понижается в виде холмов и перерезана широкими ущельями, а на другой стороне замыкается обрывистыми скалами и вся усеяна отдельными крутыми возвышениями.

Намереваясь идти такую дорогою, царь заранее не позаботился ни о чем, что могло бы облегчить для войска трудность пути; не освободился от большого обоза, не оставил в стороне повозок, на которых везлись стенобитные машины, и не попытался с легким отрядом выгнать наперед персов из этих обширных горных теснин и таким образом очистить для войска проход. Напротив, как шел он по равнинам, так вздумал пройти и этими теснинами, хотя пред этим слышал, а спустя немного и собственными глазами удостоверился, что варвары, заняв вершины гор, решились опорожнить все колчаны, выпустить все стрелы и употребить все средства, чтобы остановить ромеев и не дозволить им идти вперед. А вел царь фаланги — то было в месяце сентябре — в таком порядке. Впереди войска шли со своими отрядами два сына Константина Ангела, Иоанн и Андроник, а за ними следовали Константин Мавродука

и Андроник Лапарда. Затем правое крыло занимал брат царской жены Балдуин, а левое Феодор Маврозом. Далее следовали обоз, войсковая прислуга, повозки с осадными машинами, потом сам царь со своим отборным отрядом, а позади всех начальник замыкающего полка Андроник Контостефан. Когда войска вступили на трудную дорогу, полки сыновей Ангела, Мавродуки и Лапарды прошли благополучно, потому что пехота, бросившись вперед, опрокинула варваров, которые сражались, стоя на холмах, идущих от горы, и, обратив их в бегство, отбросила назад в гору.

Быть может, и следующие за ними войска прошли бы невредимо мимо персидских засад, если бы ромеи, тесно сомкнувшись, тотчас же последовали за идущими впереди войсками, нисколько не отделяясь от них и посредством стрелков отражая нападение налегающих на них персов. Но они не позаботились о неразрывной взаимной связи, а между тем персы, спустившись с высот на низ и с холмов в долины, большою массою напали на них, отважно вступили с ними в бой и, разорвав их ряды, обратили в бегство войско Балдуина, многих ранили и немало убили. Тогда Балдуин, видя, что его дела дурны и что его войска не в силах пробиться сквозь ряды врагов, теснимый отовсюду, взяв несколько всадников, врывается в персидские фаланги, но, окруженный врагами, он и сам был убит и все бывшие с ним пали, совершив дела мужества и показав пример храбрости. Это еще более ободрило варваров, и они, заградив для ромеев все пути и став в тесный строй, не давали им прохода.

А ромеи, захваченные в тесном месте и перемешавшись между собою, не только не могли нанести врагам никакого вреда, но, загораживая собою дорогу приходящим вновь, отнимали и у них возможность оказать им помощь. Поэтому враги легко умерщвляли их, а они не могли ни получить какое-либо вспоможение от задних полков и от самого царя, ни отступить, ни уклониться

в сторону. Повозки, ехавшие посредине, отнимали всякую возможность возвратиться назад и перестроиться более выгодным образом, а войскам самодержца заграждали путь вперед, стоя против них, как стена. И вот падал вол от персидской стрелы, а подле него испускал дух и погонщик. Конь и всадник вместе низвергались на землю. Лощины загромодились трупами, и рощи наполнились телами павших. С шумом текли ручьи крови. Кровь мешалась с кровью, кровь людей — с кровью животных. Ужасны и выше всякого описания бедствия, постигшие здесь ромеев. Нельзя было ни идти вперед, ни возвратиться назад, потому что персы были и сзади, и заграждали путь спереди. Оттого ромеи, как стада овец в загонах, были убиваемы в этих теснинах.

И если в них было еще сколько-нибудь мужества, если осталась искра храбрости против врагов, то и она погасла и исчезла, и мужество совершенно оставило их, когда враги представили их взорам новый эпизод бедствия — воткнутую на копье голову Андроника Ватацы. То был племянник царю Мануилу, отправленный с войском, собранным в Пафлагонии и Понтийской Ираклии, против амасийских турков. Такие печальные вести и эти ужасные зрелища привели царя в смятение; видя выставленную напоказ голову племянника и чувствуя великость опасности, в которой находился, он было уныл и, прикрывая печаль молчанием и изливая скорбь в глухих, как говорят, слезах, ожидал будущего и не знал, на что решиться. А шедшие впереди римские полки, пройдя невредимо эту опасную дорогу, остановились и окопались валом, заняв холм, на котором представлялось несколько безопаснее.

Между тем персы всячески старались одержать верх над полками, бывшими под начальством царя, считывая легко разбить и остальные войска, когда будет побеждено войско главное и самое сильное. Так обыкновенно бывает и со змеею, у которой коль скоро

разбита голова, то вместе с тем теряет жизнь и остальная часть тела, и с городом, потому что, когда покорен акрополь, то и остальной город, как будто бы весь был взят, испытывает самую жалкую участь.

Царь несколько раз пытался выбить варваров из тамошних теснин и употреблял много усилий, чтобы очистить проход своим воинам. Но, видя, что его старания остаются без успеха и что он все равно погибнет, если останется на месте, так как персы, сражаясь сверху, постоянно оставались победителями, он бросается прямо на врагов с немногими бывшими при нем воинами, а всем прочим предоставляет спасать себя, как кто может. Варварская фаланга со всех сторон обхватила его, но он успел вырваться из нее, как из западни, покрытый многими ранами, которые нанесли ему окружавшие его персы, поражая его мечами и железными палицами. И до того он был изранен по всему телу, что в его щит вонзилось около тридцати стрел, жаждущих крови, а сам он не мог даже поправить спавшего с головы шлема. При всем том сам он сверх чаяния избежал варварских рук, сохраненный Богом, который и древле в день битвы прикрывал голову Давида, как говорит сам псалмолюбец.

Прочие же римские полки страдали все более и более; они со всех сторон были поражаемы копьями с железными остриями, насквозь пронзаемы стрелами на близком расстоянии и при падении сами давили друг друга. Если некоторые и прошли невредимо это ущелье и разогнали стоявших тут персов, зато на дальнейшем пути, вступив в следующий овраг, они погибли от находившихся здесь врагов. Этот проход перерезан семью смежными ущельями, которые все похожи на рвы, и то немного расширяется, то опять сужается. И все эти ущелья тщательно охраняемы были приставленными к ним персами. Да и остальное пространство не было свободно от врагов, но все было наполнено ими.

Тут же случилось, что во время сражения подул ветер и, подняв с здешней песчаной почвы множество песку, с яростию бросал его на сражающихся... — Где-то здесь начиналось небывшее, невысказанное и невероятное, как определил Апокавк. — Устремляясь друг против друга, войска сражались как бы в ночной битве и в совершенной темноте и наряду с врагами убивали и друзей. Нельзя было различить единоплеменника от иноплеменника. И как персы, так и ромеи в этой свалке обнажали мечи и против единокровных и убивали как врага всякого встречного, так что ущелья сделались одною могилою, смешанным кладбищем и общею последнею обителью и ромеев, и варваров, и лошадей, и быков, и ослов, носящих тяжести.

Ромеев, впрочем, пало более, чем врагов; особенно много погибло царских родственников, и притом знаменитейших.

Когда пыль улеглась и мгла рассеялась, увидели людей (какое ужасное событие и зрелище!), которые до пояса и шеи были завалены трупами, простирали с мольбами руки и жалобными телодвижениями и плачевными голосами звали проходящих на помощь, но не находили никого, кто бы помог им и спас их. Все, измеряя их страданиями свое собственное бедствие, бежали, так как в опасности жизни поневоле были безжалостны и старались, сколько можно скорее, спасти себя.

Между тем царь Мануил, подошедши под тень грушевого дерева, отдыхал от утомления и собирался с силами, не имея при себе ни щитоносца, ни копьеносца, ни телохранителя. Его увидел один воин из конного отряда из незнатных и простых ромеев и, сжалившись, добровольно, по своему усердию, подошел к нему, предложил, какие мог, услуги; надел ему как следует на голову шлем, склонившийся на сторону. Когда царь стоял, как мы сказали, под деревом, прибежал один перс и потащил его за собою, взяв за узду коня, так как не было

никого, кто бы мог ему препятствовать. Но царь, ударив его по голове осколком копья, который оставался еще у него в руках, поверг его на землю. Спустя немного на него нападают другие персы, желая взять его живым, но и их царь легко обратил в бегство. Взяв у находившегося подле него всадника копье, он пронзил им одного из нападающих так, что тот лишился жизни, а сам всадник, обнажив меч, отрубил голову другому.

Затем около царя собралось десять других вооруженных ромеев, и он удалился отсюда, желая соединиться с полками, которые ушли вперед. Но когда он прошел небольшое пространство, враги опять стали заграждать ему дальнейший путь, а не менее того мешали идти и трупы павших, которые лежали под открытым небом горами и заграждали собою дорогу.

С трудом пробравшись наконец сквозь неудобопроходимые места и переправившись через протекающую вблизи реку, причем в иных местах приходилось шагать и ехать по трупам, царь собрал и еще отряд сбегавшихся при виде его ромеев. В это-то время он своими глазами видел, как муж его племянницы, Иоанн Кантакузин, один бился со многими и мужественно нападал на них, как он кругом осматривался, не придет ли кто ему на помощь, и как, спустя немного, он пал и был ограблен, потому что никто не явился пособить ему. А убившие его персы, лишь только увидели проходящего самодержца — так как он не мог скрыться, — соединившись в когарту, погнались за ним, как за богатою добычею, надеясь тотчас же или взять его в плен, или убить. Все они сидели на арабских конях и по виду были не из простых людей; у них было отличное оружие, и их лошади, кроме разной блестящей сбруи, имели на шеях уборы, сплетенные из конских волос, которые опускались довольно низко и были обвешаны звенящими колокольчиками.

Царь, воодушевив сердца окружавших его, легко отразил нападение врагов и затем продолжал понемногу

подвигаться вперед, то пролагая себе дорогу по закону войны, то проезжая и без пролития крови мимо персов, которые непрерывно появлялись одни за другими, и все старались схватить его. Наконец он прибыл к полкам, которые прошли вперед и был принят с величайшею радостью и удовольствием, так как они более беспокоились о том, что не является он, чем печалились о себе. Но прежде чем он соединился с ними и когда был еще там, где, как я сказал, протекает река, он почувствовал жажду и приказал одному из бывших при нем, взяв сосуд, почерпнуть воды и принести пить. Хлебнув воды столько, что едва смочил небо во рту, он остальное вылил, потому что гортань неохотно принимала ее. Рассмотрев эту воду и заметив, что она смешана с кровью, царь заплакал и сказал, что, по несчастью, отведал христианской крови».

— А далее всё иное, неведомое, и прямо во иных хрониках да летописях неписанное, множатся сказки. Начало же сему повороту — вот где...

Герман отчеркнул — от сих до сих.

Они положили две книги рядом... Внимательно вглядываясь, старались помыслить всю глубину отличия.

Там, где повествование доходило до прорыва царского полка через теснину, прорыва, стоившего тяжких потерь, слова сначала изменялись легко, неуловимо, а затем решительно расставались со всем прежним ходом «небывшей» истории, открывая для себя новую дорогу — привычную, понятную, всем известную... Словно это они прорывались сквозь ряды врагов, а не отчаявшиеся воины императора Мануила.

Где-то здесь, да-да, приблизительно здесь: «Царь несколько раз пытался выбить варваров из тамошних теснин и употреблял много усилий, чтобы очистить этот проход своим воинам. Тщетно. Видя, что его старания остаются без успеха и что он все равно погибнет, если останется на месте, так как персы, сражаясь сверху,

постоянно оставались победителями, он бросается прямо на врагов с немногими бывшими при нем воинами, а всем прочим предоставляет спасать себя, как кто может. Был миг, когда, окруженный чужим воинством, он едва не погиб, но сумел вырваться из ловушки, как из западни, покрытый многими ранами, которые нанесли ему окружающие его персы, поражая его мечами и железными палицами. Царь Мануил немедленно отправил гонца, ожидая помощи в сражении, которое уже почти было проиграно. И до того он был изранен по всему телу, что в его щит вонзилось около тридцати стрел, жаждущих крови, а сам он не мог даже поправить шлема, криво легшего на его голове. При всем том, сам он сверх чаяния избежал варварских рук, сохраненный Богом.

Прочие же римские полки страдали все более и более; они со всех сторон были поражаемы копьями с железными остриями, насквозь пронзаемы стрелами на близком расстоянии и при падении сами давили друг друга. Если некоторые и прошли невредимо это ущелье и разогнали стоявших тут персов, зато на дальнейшем пути, вступив в следующий овраг, они погибали от находившихся здесь врагов. Немногие прорвались до конца. Этот проход перерезан семью смежными ущельями, которые все похожи на рвы, и то немного расширяются, то опять сужаются. И все эти ущелья тщательно охраняемы были приставленными к ним персами. Да и остальное пространство не было свободно от врагов, но все было наполнено ими, особенно же их лучниками.

Тут же случилось, что во время сражения подул ветер и, подняв со здешней песчаной почвы множество песка, с яростью бросал его на сражающихся. Откуда взялась эта буря, никто понять не мог. Устремляясь друг против друга, войска сражались как бы в ночной битве и в совершенной темноте; наряду с врагами убивали и друзей. Нельзя было различить единоплеменника от

иноплеменника. Вскоре, однако, выяснилось, что в клубах пыли к царю пришла долгожданная помощь. Гонец Мануилов отыскал конное войско в две с половиной тысячи бойцов, не успевших к началу сражения. Именно от них взвилось облако пыли. Это сын царя, Алексей, сущий отрок, вел дружины русских городов Ростова и Суздаля, которые дал ему младший брат тестя, великий князь Северной Руси Всеволод. Алексей женился на дочери брата его Андрея, сурового правителя, хотя король франкский давал за Алексея свою дочь Анну. Теперь этот брак дал хорошие плоды. Недавно Всеволод счастливо подавил мятеж, возглавленный названными выше городами. Теперь, наказывая их воинских людей дальним походом, одновременно спасал своего великого родственника, царя Мануила. Вместе с мальчиком он отпустил своих бояр, они-то и были истинными предводителями ростовского и суздальского полков.

Русские конники, предводительствуемые боярами и отважным Алексеем, юные годы которого не препятствовали проявлению благородного мужества его природы, бросились на варваров со спины. Те от неожиданности потеряли высокий дух, дарующий победу. Множество их погибло под мечами и топорами прибывшей части православного воинства. Другие бежали, оставив своих военачальников. Иные же простирали руки, моля о пощаде. Бог умерил гордость недавних победителей, сделал их побежденными. Один боярин суздальский — о великое и ужасающее горе! — храбро бившись, погиб от вражеской стрелы, поразившей его в горло. Однако его смерть уже не могла отнять у христиан победы.

Когда пыль улеглась и мгла рассеялась, стали видны груды мертвецов, главным образом, убитых варваров, в иных местах заполнившие глубокие места в ущельях на три-четыре локтя в высоту. Многие люди, до пояса и шеи заваленные трупами, молили освободить их,

жалобными телодвижениями и плачевными голосами звали проходящих на помощь, но не находили никого, кто бы спас их, ибо сражение продолжалось. Воины Кличестлана, измеряя их страданиями свое собственное бедствие, бежали, так как в опасности жизни поневоле были безжалостны и старались, сколько можно скорее, спасти себя.

Между тем царь Мануил, подошедши под тень грушевого дерева, отдыхал от утомления, оплакивал горькую судьбу погибших воинов и собирался с силами, дабы в последнем порыве разгромить ту часть вражеских полков, которая еще сохраняла порядок. Ему подвели коня и помогли поправить шлем, съехавший на сторону. Собрав рядом с собою двести или триста лучших греческих воинов, среди которых было множество царских родственников, добавив к ним столько же воинов русских, Мануил наконец решительно бросился на неприятельских щитоносцев, закрывавших собою султана Кличестлана от христианского натиска. Царь убил мечом одного щитоносца, но столь глубоко в тело убитого вошло лезвие, что клинок пришлось оставить. Другой перс, судя по одежде и оружию, знатный человек, пал от царского копья. Однако после этого в руке Мануила остался лишь обломок — такой силы он нанес удар. Когда царь подскакал к самому Кличестлану, султан предстал перед ним на отличном коне, в драгоценном доспехе и полный решимости защищаться. Но царь, ударив его по голове осколком копья, который оставался еще у него в руках, поверг его на землю. Так погиб величайший враг православного царства».

Русский и грек переговорили кратко о сути разночтения, убеждаясь, что оба имеют единое мнение и никакая мелочь мимо их рассуждений не прошла. Да, они ясно видели одно и то же. В одном списке хроники Империя потерпела поражение и, шатаясь, теряя кровь и силы, медленно побрела к окончательному падению.

В другом — победила и расцвела, влив в свое тело юную русскую кровь.

— До сих пор не могу уразуметь, откуда и зачем пошла такая шутка. К чему она? Может, бавил себя сугубо игрою книжной человек?

Апокавк устало потер лоб:

— То не шутка и не игра, владыко. Из Полоцка, города, на злые чудеса богатого, пошло... там же философами из Академии ортодоксальной и разгадано. Это, кир Герман, свидетельство нашего небытия... — Увидев недоуменное выражение лица собеседника, грек оговорился:

— Вернее, неполного нашего бытия. Не больше и не меньше.

У входа в трапезную палату послышался шум. Что там такое? До слуха Апокавка доносятся отзвуки недовольного голоса... как будто... голос князя?... мелодия раздражения... да, именно так, сердитость, едва ли не ярость... чей-то еще голос... шаги удаляющиеся... шаги приближающиеся, опять удаляющиеся...

Герман кликнул келейника.

— Кто там?

— Не ведаю, владыко...

— Разузнай вборзе.

Тот скрылся.

Герман обратился к Апокавку:

— Коли можешь досказать спешно, доскажи.

Грек на миг закрыл глаза. А когда открыл, из уст его полился хладно-железный голос. Такой, каким был бы голос пищального затвора, оживи он и превратись в гортань:

— Владыко, мы еще не живем, мы не родились, мы тени будущего, присутствующие в замысле Божьем. Господь мыслит нами, то есть царствами, городами и человеками; Господь перебирает нас, отыскивая лучший путь для сотворенного Им мира и Промысла Его от Творения до Страшного суда. Когда Он выберет, мы

родимся, но, может быть, не в те годы и не в тех местах, как ныне. А пока в нашу родную тень иногда являются свидетельства о судьбах иных теней — люди, вещи, рукописи... — и там, быть может, нет и следа от Империи эллино-русской... Следуя науке логики, мы можем быть и ложным путем, мы, как бы прискорбно это ни звучало, можем быть вытеснены из замысла Господня, оказаться на положении тупика, ошибки. Представляешь ли, как это опасно? Мы просто рассеемся, словно туман...

10.

Сей же час в палату влетел келейник.

— Владыко, там князь Глеб! Там...

— Не засти! — раздался голос воеводы.

Стратиг встал у него за спиной и, храня на лице выражение сдержанной досады, отодвинул со своего пути. Ровно с тем вежеством отодвинул, чтобы движение его нельзя было назвать «отшвырнул».

— Прости, владыко, долгонько ожидали, что позовешь нас, и вот сами зашли.

Князь встал под благословение. За спиной у него усмехался аколуф, пожимал плечами Гаврас и в дверях с мрачным видом буравил грека взором генуэзец.

— Прости и ты, князь. Никто мне о тебе не доложил вовремя. Как видно, перестарались, желая сберечь покойность беседы моей со гостем московским. Нелепо вышло, назавтрее разъясню бестолковым, како следует тебя принимать.

Стратиг понимающе кивнул.

— Кстати о госте пришлось. Забираю его у тебя, владыко! Не погребуешь ли, высокий и ясный господин думный дворянин государев, — добавил он, обращаясь уже к Апокавку, — братчиною за одним столом со властишками дальней фемы, глуши и дебри заморской?

Патрикий очень хорошо понял: отказываться нельзя. Не слугу простого за ним послал стратиг и даже не аколуга или турмарха, а сам явился. Это по́честь. Отводить ее — оскорбительно для всего фемного начальства. Как же не вовремя! Господи, за что испытываешь раба Твоего Феодора?

Поколебавшись, грек поклонился князю Глебу с невыносимым отчеством и отвечивал кротко:

— Как я могу отказать твоей милости? Рад буду с тобою хлеб разделить за одним столом.

«Как же тебя по батюшке? Авванезыч? Авванизьеч? Агамемноныч?»

Князь покачал головой с довольством и сделал простецкий жест человека власти: махнул Апокавку рукой, мол, давай за нами.

Нежданно владыка молвил:

— Оставь мне его ненадолго, княже. Со всяческим поспешением пошлю его в твой дом с келейником — не заблудится. Не обессудь, разговорец вышел у нас... непростой. Малой капли не хватает — договорить. Смирно чело бью, и не задержу гостя напрасно.

Князь поморщился.

— Чело-ом бью... Шутишь, владыко? Какие промеж нами челобитья? Вижу, у тебя дело, ин ладно, добеседуешь, но без промедления. Авось догонит нас гость.

Стратиг вышел, а вместе с ним и вся его свита.

Герман заговорил так, что чувствовалось: он желает дать гостю мягкое увещание, вместе с тем, еще сам не довершил размышлений о чудесах «небывших лет». Медленно, с великим тщанием подбирая слова, он превращал в улыбку и слова сердечный трепет, но еще не мысль, не систему, не логику. Кажется, старец думал сердцем, и сердце обгоняло ум, но ум уже привык следовать за сердцем и во всем подчиняться сердечным стягам, во всем идти под воинскими значками сердца.

— Подумай-ка, чадо... Сколько седатый твой собеседник по морю плавал... рукам по сию пору живется непривычно без мозолей от вёсел. И что ж видел? Во всем — воля Божья, и ничего без нее не совершается... Бывало, выйдешь на море в сойме или в карбасе, а то и в простой лодочке, сам еще млад, зүёк-зуйком, и как тебе обратно воротиться, когда ветра́ буйные и тобой владеют, и суденышком твоим, и товарищам-братьями ватаги твоей? Кто бы ни был вёсельщиком, хотя бы и сущий богатырь, в морской науке невычный, а сила его силой ветра перебарывается. Не от вёсельщика жизнь твоя зависит, не от кормщика, а от ветров и вод. Вот как у нас говорят? Шелонник — на море разбойник... очень трудный ветер. А сиверко — тож нелюбезный ветречок, просвистит каждую одежку, сколько бы ни было надёвано. Плывешь промеж луд и корг, яко промеж ребер моря, сквозь плоть водяную прозябших, и одно в голове: ох и увы, попал как рыбка в мерёжу, уже не выберешься. А море-то, море уже сколыбалось, взбелело, лютует! Душа в пятки уходит. Кого ж бояться? Волн? Ветрищ? Их ли молить о пощаде? Нет, нет. Бог ветрами верховодит, Бог един волнам приказы отдает. Бога бы побояться, Богу бы с любовью и опасением молитвы воссылать. Молишься, молишься, руки в морском труде напрягаешь, жилы рвешь, но еще и молишься, молишься... И вот уж море потишело, дал ему указ такой и память крепкую за печатьми высший Государь его, Хозяин сущего. А ты чего, чадо, боишься? Ветров и волн, токмо не морских, а державных. И чему ж ты молишься? К уму и силе ты обращен человеческой, ни к чему более. Не бойся Богу довериться, Он к нам милостив, что решит, то нам и во благо. Не о том тревожишься. Бойся изгрешиться! А что держава пропадет или переменится, так на то нам Господь иную долю даст, еще нашей нынешней краше и замысловатее. Чай, без милости Его не останемся... Что твоя хроника?

Малый ветер, его бы не скрывать, о нем бы соборне поразмыслить... Авось царство наше не силою тайной, а душою да верою опасность, ежели она есть, превозможет. А не превозможет, так все мы в руце не токмо царя земного, но и, допрежь того, в руце Царя небесного. От Него лиха не ждем, когда чисты, прямы и любовны, когда веры нашей не топчем, а возвышаем ее. Помысли, помысли, об угрозе ли беспокойство наше должно быть? Об тайном ли схоронении хроники баечной и нелеповидной? Не суетимся ли мы с нею беспутно? Помысли же!

«Как же быстро он схватил суть головоломки с хроникой из иной тени! — поразился патрикий. — Тайное схоронение! В двух словах передал всё сокровенное, грозное, опасное и мною нимало не высказанное. Да, схоронить под надзором малой этерии мудрецов. Или же спалить! Спалить? Жалко... Но... Тайное схоронение, как это верно. Ум его силён и странен, не греческий ум».

Ох.

— Я твой смиренный слуга, владыко, и столь же смиренный раб Божий. Позволь ответить тебе недерзновенно, однако же и несогласно...

Герман кивнул.

— А что, если Господь Бог наш наблюдает за тенями миров в уме Своем и выбирает самый жизнеспособный из них? Разве не следует нам постоять за себя? Не позволить того, чтобы случился развал великого православного Царства?

Митрополит вздохнул и отвернулся. Голос его зазвучал глухо:

— Не смиренный, не слуга, не раб, и волю свою в руцы Божии не предавший, а надо бы... Эх, чадо, своеумец Феодор... Неужто Он не лучше нас ведает, что нам надобно по чести, по вере и по правде? И ведая, неужто Он этого нам милостиво не дает?

Апокавк не желал делать того, к чему вынуждали его слова Германа, поскольку русский был ему симпатичен. Дал же Бог повстречаться магнаврку с магнаврцем на краю света... Но ныне он, книжник Феодор, — патрикий Империи, служилец государев, и ему надо делать дело.

Грек поклонился Герману поясно, а затем сказал негромко, но твердо:

— Прошу тебя, владыко, отдай мне ядовитую хронику. Не своей волей молю тебя об этом, но волей великого государя царя нашего, а сверх того волею великого господина патриарха... На то у меня грамоты с печатями и от одного, и от другого.

Митрополит печально улыбнулся:

— Отдал бы и так. Суетно у нас выходит... о том обо всем поговорить бы как следует, да молебен бы отслужить Пречистой, да князю бы доложить, а ты — с места вскачь понесся... Не по-людски. Но ничего, ничего. Великому государю я не встречник и святейшему кир патриарху я не поперечник. И тебе подавно, чадо, не враг. Должно, сердце твое от страха воплем заходится: как бы скорее и вернее исполнить порученное дело... Оставь себе бумаги твои, ни к чему они мне. Возьми книгу, спрячь, где пожелаешь, хоть с собой носи. И — конец венчает дело. Не так ли нас с тобой, чадо, премудрые наставники учили мудрости древних?

Герман улыбнулся светлее.

Апокавк в восторге бросился ему под благословение. Целуя старику руку, он услышал спокойное:

— Ну, ступай, веселись. Утром Бога возблагодаришь, а ныне возьми келейника и догоняй князя Глеба с присными. Ступай же!

Ушел грек.

Герман промолвил ему вослед:

— Мы слишком любим закон. Мы мало соблюдаем любовь...

11.

...Когда шли вместе с Глебом Белозерским и его людьми в воеводский дом, Хроника была при нем, в сумке. Апокавк не мог с ней расстаться. Он был счастлив. Он все время ощупывал сумку: не вывалилась ли?

Когда пили в палатах стратига, Хроника была при нем. Патрикий держал сумку при себе, даже когда над ним начали подшучивать: мол, вцепился... Он отвечал: важные государевы грамоты, не могу оставить. Гаврас смеялся, князь понимающе кивал, генуэзец смотрел изучающе, а каталонец без конца подливал. Ему привезли из-за моря хорошего вина, очень, очень хорошего вина — с родины. Грек пытался не захмелеть и был счастлив, чувствуя бедром острый угол дощатого переплета. Пока не захмелел, он вел себя как советовал один мудрый ромей старых времен: «Если ты грамматик или философ, старайся и видом, и речью, и поведением, и самими делами показать свои знания, чтобы твои занятия и размышления не остались втуне». Он риторствовал и философствовал... во всяком случае, на том отрезке пира, который остался в памяти.

Он был счастлив, когда отправился назад, в терем митрополичий, прижимая сумку к себе и чувствуя: Хроника — при нем. Рядом брел нотариус из русских и ратник из болгар. Оба сердились, что их послали сопровождать пьяного Апокавк в ночь-полночь, однако ворчать не решались. А грек всё думал крамольное: что если и впрямь судьба Империи повернулась бы иначе, к вящей славе? Великий царь Мануил I разгромил бы турок сам, без русских... Или сын его, Алексей, не умер бы от болезни в отроческие годы... Какой бы, наверное, вышел из него сильный и отважный василевс! Ведь львенок от льва рожден и по природе своей львом должен сделаться. А Мануил — лев истинный! Последний лев среди царей из греков... Как писал о нем мудрый

Иоанн Киннам? «Царь, приняв осанку героя выше всякого мужества... схватился с врагами и весьма многих из них поразил мечом, а прочих заставил обратиться в бегство». Лев! Может, Империя сохранила бы величие и без русских... Греки ныне не первенствуют нигде, разве среди купцов, богословов и в свободных искусствах. Много власти взяли русские, назвавшись и став истинными ромеями. Но как они в ромеев превратились? Дружины, пришедшие из пределов Руси, остались в царственном граде Константинополе. Остались при Мануиле: он опасался удара со стороны турок. Остались, когда Мануил умер, при Алексее, их даже стало больше. И они уже начали прибирать власть, расточаемую беспечными эллинами... А когда троюродный брат мальчика, Андроник Комнин, попытался совершить переворот и сделаться старшим правителем, то ли регентом при Алексее, то ли царем вместо Алексея, дружинники подняли его на копья. Чуть погода в Константинополь явился сам великий князь владимирский Всеволод и молвил тяжко: «Вам требуется регент? Я буду таковым при Алексее. Ныне беру на себя всю власть царскую». И вот Алексей умер... Не убит, не... хотя кто сейчас скажет наверняка? Больше трех веков прошло... Все полагают: умер, просто умер, да и всё. Так вот, именно тогда Всеволод перестал быть великим князем, превратившись в императора ромеев. Первого императора из русских... Правда, надо отдать ему должное, он бил сынов Моамета — турок, бил и грязных нечестивцев-франков, легко отбрасывая их от Константинополя. О нем в старой русской летописи сказано: „Много мужествовав и дерзость имев, на бранех показал. Украшен всеми добрыми нравами. Злых казнил, а добромысленных миловал: князь бо не туне меч носит — в месть злодеем, а в похвалу добро творящим. От имени его трепетали все страны... Всех, мысливших против него зло, вдал Бог под руку его, понеже не возносился,